

## НАДЕНУ Я ЧЕРНУЮ ШЛЯПУ...

Роман

### 1. ЧЕЛОВЕК С ТАХТЫ АСПАЗИИ

Опять вспоминаю Ашхабад и как учился там в Университете марксизма-ленинизма. Не то чтобы я обожал науку, просто думал, что это мне поможет лучше устроиться в жизни. Я тогда только что демобилизовался из армии, и у меня не было ничего, кроме пустого фанерного чемодана.

Одного лектора запомнил навсегда. Он сказал на лекции, что, в сущности, человеку для жизни не так уж много и нужно: одежда, жилище и пища. Тотчас же кто-то крикнул из зала:

— А дрова?

Лектор спокойно пояснил:

— Дрова относятся к жилищу.

— А женщина? — пробасил другой голос.

— И женщина относится к жилищу.

— А выпивка? Курево?

— Это относится к пище...

В Университете марксизма-ленинизма я больше не усвоил ничего. Но слова лектора о том, что человеку для жизни нужно совсем немного, были высечены в моем мозгу, словно надпись на скале.

После в моей жизни не раз случалось так, что я совсем не имел жилища, а если было какое-то подобие жилья, то в нем не было либо дров, либо женщины.

И когда после долгой жизни на юге я неожиданно вдруг в очередной раз появился в Томске и вышел из вокзала под серое небо, ронявшее на землю серые снежинки, я почувствовал, что для жизни мне не хватает жилища. У меня был адрес брата Гурия. Где-то на Черемошниках, в поселке шпалозавода, надо было искать барак номер три. Ладно! В бараке я еще не обрелся ни разу.

Черемошники — окраинный район, автобусы туда не ходили, и мне пришлось идти через весь город пешком. Чтобы не заплутать, решил все время идти вдоль берега Томи.

Когда-то Черемошники были «летней» пристанью в нескольких километрах от города. Когда спадала большая вода и пароходы не могли причаливать возле Томска, пассажиров высаживали на Черемошке, там же выгружали грузы. Там среди болот буйно цвела черемуха. И обитали там, в зарослях около складов и причалов, бездомные лихие граждане.

Черемошники вообще всегда пользовались недоброй славой. Если летом кто-то возле Томска тонул в Томи, то утопленники обычно всплывали ниже по течению, на Черемошниках. Мне вспомнилось, как однажды в День авиации люди собрались ехать за реку на праздник. На катер насело столько народа, что он перевернулся. Целую неделю потом томичи вылавливали на Черемошниках своих близких...

Уже совсем стемнело, тропинка петляла вдоль берега среди причалов, транспортеров и бревнотасок. Ноги тонули то в болоте, то в опилках. Пахло мокрыми веревками, теплым смоляным варом, сосновой щепой. Какие-то мужики подошли ко мне во тьме и попросили прикурить. Вырвали из моих рук чемодан, и один мужик, самый здоровый, по виду — атаман, сказал:

— Пестом его бить не стоит! На него плюнуть, он и то упадет! Ну, выворачивай карманы, падла!

Я вывернул карманы. В одном кармане была горсть махорки, в другом — использованный железнодорожный билет.

— И все? — изумился атаман. — Обувку сыми.

Я снял, он сунул длинные пальцы в носки моего порванного ботинка.

— Вот гад! У него и заначки никакой нет!

— В чемодане у меня стихи! — набравшись наглости, сказал я. — Стихи верните, вам они ни к чему, а я ночей не спал, сочинял их.

— Иван! — обратился к атаману гундосый горбун. — Иван, давай я покакаю, а его скушать заставим. Раз с его пользы нет, так хоть посмеемся!

Здоровяк пошелестел моими тетрадками. Сказал:



— Не надо этого, Климбабай. Он как бы поэт.

— Поеть? — перекопился горбун.

— Все! Бери стихи и беги! — скомандовал мне старшой. — Беги и не оглядывайся! А то и дерьмо жрать заставят, и петуха сделают! Ты нас не видел, мы тебя не слышали. Беги!

Я бежал и думал: «Крохоборы, фанерный чемодан забрали, махру и даже билет использованный. Ох! Да я же босой! Ботинки забыл! Вернуться? Ага! Еще заставят дерьмо есть! Или что похуже сделают. Но в чем же мне теперь ходить? Босиком? Уже и снег выпал. Вот заявлюсь я к братцу после долгой разлуки! Босиком... Да! А лектор-то в Университете марксизма-ленинизма говорил, что для жизни человеку нужна одежда, а про обувь, видно, забыл? Впрочем, обувь, наверно, относится к одежде...»

И еще я вспоминал на бегу: после гибели моего отца на фронте и отъезда матери в Щучинск я стал бездомным, но поскольку человек не может жить без жилища, я ночевал то у одних, то у других родственников. В 1943 году добрался и до тети Аспазии. Она жила в деревянном двухэтажном доме с коридорной системой на улице Войкова.

В тетиной комнате был только громадный платяной шкаф и жалкие остатки старой тахты. Она была вся засалена и порвана, а ночью неожиданно падала на тот или иной бок.

Дворянка, дочь богача, она в войну осталась одна с кучей детей. А была из тех людей, про которых говорят: ни заработать, ни украсть.

Когда я пришел к ней, старшие ее дети уже были далеко. Хоть и ели дохлых собак, голодали и болели, все же как-то выросли. Сын Владлен учился в офицерском училище. Гурий, еще недавно работавший учеником жестянщика на мельнице, был призван в армию. Сестра Мальвина окончила речное училище и стала капитаном буксира.

С тетей Аспазией жило лишь трое отпрысков. Даромир, как и я, был учеником в часовой мастерской.

Тетя Аспазия хотела уложить меня спать на тахту, дескать, сама она с девчонками и на полу поспит. Дарька сказал:

— Ни в коем случае, он будет спать со мной за ширмой...

За ширмой была односпальная железная койка. Дарька снял шелковую рубашку, шевиотовые брюки, аккуратно свернул и положил на табуретку, снял он и трусы. И мне велел раздеться. И одежду тоже положить на табуретку. И трусы велел снять. Я не хотел их снимать. Дарька разозлился:

— Говорю: снять, значит – снять! Не бойся, сэр, твоя попа будет в целости. Привык спать в трусах? Ну, смотри: ты видишь, ножки койки стоят в стаканах с кerosином, и ножки табуретки тоже. Койка железная, табурет железный, подстилаю я только клеенку и укрываюсь прожаренным байковым одеялом. Каждый вечер это одеяло каленым утюгом глажу. Иначе клопы и вши сожрут. Усек?

— Но разве нельзя их вывести?

— Как их вывести, если она с тахтой и шкафом расстаться не может? Другого-то нам не купить. В тахте этой гнид, как долларов у Рокфеллера. Но — мебель.

Вдвоем на узкой койке спать было плохо, жарко. Не выспался я.

Тетя Аспазия накрывала на стол. То есть постлала пару старых газет, а на них положила пять картошек в мундире. И нас как раз было пятеро. Мы съели по картошке. При этом тетя Аспазия повторяла:

— Кушайте, не стесняйтесь, честное благородное слово.

На стене в рамочке одиноко висела старая фотография. На ней юная тетя Аспазия стояла в гимназической форме, украшенной кружевной пелеринкой, и с портфелем в руке.

Я прожил у тети Аспазии тогда не очень долго.

Вспоминая на бегу о делах минувших дней, я все же зорко оглядывался по сторонам, чтобы не попасть в какую-нибудь яму или не наткнуться на компанию еще каких-нибудь ночных искателей приключений.

Правда, теперь ограбить меня было уже совершенно невозможно. Разве что снять с меня последние рехмоты, в которые я был одет.

Когда на берегу запахло креозотом, которым обычно пропитывают шпалы, чтобы они не гнили, я понял, что шпалозавод где-то неподалеку. Увидев в одном из дворов старуху, вынесшую какую-то еду своему цепному псу, я спросил ее, где найти барак под номером третьим. Она показала мне направление и пояснила:

— Увидишь свалку, там и третий барак. По запаху найдешь. Там свалка мяскокомбината.

Я прошел шагов двести и действительно учуял вонь. И увидел очертания барakov. В некоторых окнах еще горел свет.

Я нашел третий подъезд. Внутри было две двери. В которую постучать? Постучал в ту, что была слева. Хрипловатый баритон спросил:

— Кого это Господь к нам командировал?

— Глебычева! — сказал я.

Лязгнул крючок, я увидел широкоплечего костлявого смуглого человека с черными усами. Он держал в руке огарок свечи, его большие черные глаза глядели насмешливо-вопросительно, одна бровь была ровной, а вторая была приподнята высокой дугой, что придавало его лицу выражение веселой иронии.



— Гм, Глебычев, — сказал он. — Может, и Глебычев, да не тот. Я-то подумал, что Даромир из Норильска ко мне свалил. А это кто ж?

Я осознал, что выгляжу не очень-то респектабельно, в замусоленной куцавейке, порванных грязных брюках и к тому же босой, в дырявых носках.

— Я Глеб Николаевич! — неуверенно начал я убеждать его.

— А-а! Николая Николаевича сынок? Так мы с тобой, кажется, никогда в жизни прежде не виделись? Только слухами о тебе все годы пользуюсь.

— Один раз виделись, когда вы в подвале возле махорочной фабрики жили. Мы, правда, всего минуту и погостили. Моя мать твоей матери узел с одежкой отдала, и все.

— Гурька! Дверь закрой, а потом и беседуйте, тепло выдувает, да огарок погаси, занавеску открой, сейчас луна светит, а свечек нет больше, — сказала невидимая женщина, лежавшая на кровати у стены с мальчиком лет шести.

— Чего огарок жалеть? Брат приехал, которого я в жизни не видал! Открывай, Наташа, подполье, брагу доставай, обмывать будем. Хотя, может, это не брат, а самозванец? А?

Гурий снова круто изогнул правую бровь.

— Как не брат? — сказал я. — А откуда бы я знал про то, что вы около махорочной жили? Я и про Мальвину все знаю. А когда ты в армии служил, я у тети Аспазии в доме на улице Войкова ночевал, мы с Даромиром на одной железной койке спали. Там еще тахта была большая, а в ней вшей и клопов полно!

— Ага! Тахта! Вши и клопы? Значит, точно брат! Так что же ты так поздно ко мне зашел-то?

— Да ведь я прямо с вокзала, я из Ашхабада приехал! Я там в армии служил, потом остался. Приехал вот вечером. Автобуса до Черемошки не было. Пошел пешком по берегу, у меня чемодан и ботинки отобрали, деньги все выгребли и курево. Хорошо, хоть сам живой ушел, стихи вот только и отдали! — показал я Гурию тетради.

— А где отобрали? В каком месте? И сколько было денег?

— Да где? Возле какой-то бревнотаски, там еще большая баржа на берегу лежит перевернутая. А денег было четыреста рублей! — не моргнув, оболгал я бедных грабителей. И тут же пожалел об этом, потому что Гурий сказал:

— Четыреста — это башли хорошие. Завтра мы шмон наведем. Все вернем! А как выглядели грабители?

— Да как? Темно — как у негра в попе. Разве их разглядишь?

— А не был ли там горбун, гугнявый такой? — спросил Гурий.

Мне хотелось закричать, что был. Но я промолчал. Ну зачем я соврал про эти деньги? Да ладно! Вполне могли отобрать. И пятьсот, и шестьсот, и угробить могли.

Жена Гурия накинула поверх ночной рубахи теплую кофту, укрыла пацана одеялом потеплей. Открыла подполье, достала оттуда брагу, огурцы и помидоры, порезала сало, разлила брагу по стаканам. Мы все трое выпили, мы с Гурием принялись закусывать, а Наташа склонила голову набок, подперла подбородок рукой и переводила глаза с меня на Гурия и обратно.

Комната их в барак была чуть больше железнодорожного купе. В ней помещались только топчан и самодельный стол у окна. Еще была небольшая печка возле входа. Наталья показала мне за этой печью ведро, накрытое тряпичей.

— Захочешь сходить по малому, делай сюда. Да и по большому — тоже. Такой барак, что даже сортира во дворе нет. Да и вообще из дома ночью выходить опасно.

В эту ночь у Гурия я отоспался как следует. После ужина с выпивкой Гурий пошел дежурить, как он выразился, «на объект». Наталья пояснила, что утречком рано пойдет сменить Гурия. А он уйдет с дежурства в поликлинику на прием. Затем пойдет на работу в клуб. А со мной останется их сын Аркаша, Кадик. Я, как встану, могу растопить плиту, разогреть картошку и вскипятить чай. Она зевнула, постелила мне на пол старую шубейку, укрыла меня вязаным половиком. И я проспал часов до одиннадцати. И вдруг какое-то чудовище принялось грызть мою ногу. Боль дикая! Я задергал ногами, заорал и проснулся. Меж пальцами ноги у меня тлела вата.

Я выдернул вату и запрыгал на одной на ноге к рукомойнику. Из-под кровати послышалось квохтанье. Я приподнял свисавшее с топчана покрывало и увидел пацана. Он смеялся, глядя на меня синими невинными глазками. Глаза у него были материны, и русый волос, но все же как-то проглядывало и в глазах, и в выражении лица нечто скрытое, цыганское. Лукавство, но не веселое, а испытующее, может быть, даже злое!

— Слушай! Ты зачем же вату у меня меж пальцами зажег? Я тебе дядей прихожусь, ты ж мой племянник. А ты мне «велосипед» устроил! И где ты этому научился? Это ж только очень плохие люди такую штуку выделывают! Кадик! Я уже думаю, что ты не Кадик, а гадик! И поросенок! — сказал я, ибо ощущал дикую боль между пальцами.

— Сам ты гад! — ответил мне этот наглый вундеркинд. — И когда я — поросенок, то ты уже большая свинья!

Глаза мальчишки светились совсем не детской насмешкой. У Кадика были большие уши, и мне подумалось, что неплохо было бы взяться за одно из них и покрутить хорошенько. Но тут же я отбросил глупую